

Борис Фирсов

## Две жизни одной науки: традиции и роли социологии в России и СССР

### Вступление

На фоне общемировых трендов развития социальных наук история российской социологии может показаться запутанной, а роли, в которых ей приходилось выступать, — амбивалентными. Достаточно сказать, что она дважды рождалась. Первый раз в середине XIX в., когда идеи Огюста Конта быстро перешагнули границы Франции и стали достоянием Старого и Нового света. Успешное развитие науки прервалось в конце 1920-х гг. Социологию объявили буржуазной «лженаукой» и предали насильственному забвению на несколько десятилетий.

Второе рождение состоялось в конце 1950-х гг. Послесталинская социология возникла буквально на пустом месте. Отцы-основатели «нового научного направления» скопили ее по западным меркам и образцам и только лишь какое-то время спустя обнаружили, что социология в России *была* и даже обладала статусом самостоятельной науки. Плохое знание истории социологии советскими социологами-первопроходцами не означает, что социологическая традиция оборвалась с момента, когда она стала неуютной большевистской власти. Русская социология обрела второе дыхание в трудах социологов-эмигрантов (Гурвич, Тимашев,

Борис Максимович Фирсов  
Европейский университет  
в Санкт-Петербурге  
Firsov@eu.spb.ru

Сорокин). Глубокое по мысли сорокинское слово дошло до нас с опозданием в несколько десятилетий, идет ли речь о его анализе войн и революций или о доказательствах неэффективности централизованной экономики, уступавшей бессознательно сложившейся, но гениальной по своей тонкости системе капиталистических отношений [Шубкин 1996: 137, 145].

На повторную легитимацию социологии и возвращение первоначального имени ушло 30 лет! Поясню это на личном примере. Свою кандидатскую диссертацию я защитил в 1969 г. Ее основу составили результаты эмпирического изучения аудитории Ленинградского телевидения. Тем не менее мне была присвоена ученая степень кандидата философских наук по специальности «Диалектический и исторический материализм». Спустя 10 лет я защитил докторскую диссертацию, посвященную глобальным процессам массовой коммуникации. Социология оставалась пораженной в правах и не входила в государственный реестр профессий и научных специальностей. В итоге я получил ученую степень доктора философских наук по специальности «Прикладная социология»<sup>1</sup>.

Вообще говоря, падениями и взлетами отмечена вся траектория движения российской социологической науки в историческом времени. Самые первые всплески социологической мысли, формировавшейся под влиянием западной традиции (позитивизм, неокантианство), пришли в конфликт с национально-религиозным мировоззрением. Вплоть до 1891 г. цензура стояла на пути книг О. Конта к российскому читателю, считая, что эти сочинения «разрушают господствующие верования». Лишь в 1907 г. в России была открыта первая социологическая кафедра, но не в стенах столичного или московского императорских университетов, а в частном психоневрологическом институте, возглавлявшемся психиатром и психологом В.М. Бехтеревым (1857–1927).

Социальным обследованиям повезло больше. Начало их бурному развитию положила земская статистика, возникшая еще в середине XIX в. Обследования продолжились и в первые годы советской власти. Хуже было с теорией, которая вскоре после революции стала формироваться под влиянием догм «единственно правильного научного мировоззрения», как тогда представлялся марксизм, возведенный в ранг государственной науки.

В итоге постсталинская Россия окажется в неизмеримо худшем положении, чем послегитлеровская Германия, которая сумела воспользоваться сохранением кадров социологов в эмиграции,

---

<sup>1</sup> Курсивом выделены те сюжеты, которые опираются на воспоминания в первом и третьем лице.

живучестью идей М. Вебера, К. Мангейма, З. Фрейда и других классиков, потоком литературы по американской и европейской социологии, быстрым восстановлением нефашизированного социологического образования, отсутствием марксистской догматики как государственной религии [Колбановский 1999: 24]. В Советском Союзе потребовались тридцатилетние усилия для того, чтобы «с грехом пополам» обеспечить благоприятные условия для раскрепощения социологического знания. Такова инерция и власть разрешительного и поднадзорного характера развития науки и образования в СССР, что также можно было бы назвать традицией, но с особыми оговорками. Помня об этом, я сделаю главной темой моей статьи ответ на вопрос: насколько традиции и фактические роли советской социологии были функциональны (дисфункциональны) по отношению к целям социологии как отрасли научного знания.

### **Традиция первая: политическая ангажированность**

Предлагаемая ниже концепция [Социология в России 1998: 23–27] пытается избежать крайностей одномерного представления истории отечественной социологии, находившейся под влиянием марксизма на протяжении всей своей истории. Автор концепции (Г. Батыгин) исходит из того, что это влияние было исторически неизбежным вследствие того, что еще *до распространения* марксизма в России российское общество и его наиболее радикально настроенная часть — российская интеллигенция — оказались политически ангажированными. «История не знает другого такого подчинения человеческого сообщества теоретической схеме» [Социология в России 1998: 25].

К моменту зарождения социологии Россия уже обладала эмансипированной от религии общественной мыслью. Собственно научное ее направление возникло в 60-е гг. позапрошлого столетия, когда началась критика несовершенного устройства общества, шел поиск социального идеала и появились «критически мыслящие личности» (тургеневские Базаровы, нигилисты). Они протестовали против архаичных социальных институтов и всячески стремились к тому, чтобы десакрализовать общественную жизнь и государство, сделать их подвластными эмпирическому опыту и наблюдениям. Этот процесс не исключал обостренных временем философских (религиозно-философских) исканий, и потому право называться представителями социологии на первых порах принадлежало сторонникам «позитивистской науки». Однако и они не избегли участия в политической борьбе. В итоге едва ли не вся предреволюци-

онная социология оказалась распределенной по «партийным квартирам».

Это новое знание сразу же оказалось оппозиционным, нацеленным на обозначение проблем тогдашнего российского общества, прошлого и активные поиски ответа на вопрос: *Что считать наиболее важным для блага народа?* Здесь не вызовет удивления сопротивление власти. Достаточно вспомнить запреты Павла I и Николая I на слова «прогресс», «общество», «революция». Ссылки, эмиграция, грозные предупреждения властей, тюрьма и увольнения — факты биографий многих социологов анализируемого периода. Их изначальный радикализм приобрел совсем иное качество под влиянием марксистских идей, сыгравших особую роль в поляризации социальных наук, а затем и всего российского общества.

Обсуждаемая традиция нашла свое яркое выражение в социальном конструктивизме шестидесятников, который к концу 1960-х гг. сочетался с критическим отношением к институтам партийно-государственной власти. В своем новом качестве она возвращает к периоду начала «оттепели», когда молодые в ту пору советские интеллектуалы (социологи в частности) исполнились благих надежд и бросились к власти в энтузиастическом порыве. Тогда многим из них казалось, что пришел конец тягостному и затянувшемуся ожиданию перемен. *«Может быть, это наша власть и мы ее поддержим, а она — нас», — говорила в одном из интервью со мной петербургская писательница Н. Катерли. Но надежды не сбылись. Власть, как свидетельствует история, посмотрела, понюхала, простучала каблуком о трибуну Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и вскоре отвергла окончательно и бесповоротно тех, кто было ей поверил.*

Правда, перемена в отношении к власти произошла не сразу. Какое-то время, пока не погасло пламя общественных надежд, по стране прокатывались волны общественных требований в поддержку перемен к лучшему. Упомянутый нами социальный конструктивизм был их прямым следствием. Вплоть до начала горбачевского периода здесь доминировали, с одной стороны, осуждение социального порядка в стране (в рамках дозволенного идеологией и цензурой), а с другой стороны — высокий активизм и даже (в начале 60-х гг.) мессианство.

Здесь корни той гигантской работы по составлению записок, адресованных «верхам» и пронизанных чистосердечным стремлением сказать всю правду и добиться изменений. Другое дело, что адресатами этих обращений были «слепые вожди слепых», кому социология была нужна только в качестве модного бантика, совершенно инородного на полувоенном кителе сталинского покроя.

Среди шестидесятников были и такие, кого отличало полное отрицание сталинизма, а то и ненависть к нему. Однако другие (их было большинство) воспринимали сталинизм как искривление, отход от «правильного» социализма. Их позиция часто состояла в том, чтобы вразумить власть имущих, объяснить им, как следует строить политику и решать проблемы жизни и развития страны.

Оставаясь относительно монолитными по своему настроению, социальные конструктивисты впоследствии, к началу перестройки (иные несколько раньше), распались на три части. Первые окончательно освободились от утопических иллюзий и стали на сторону демократических преобразований, вторые превратились в усталых прагматиков-профессионалов, третьи отдали предпочтение групповым, корпоративным, имперским или великодержавным ценностям в сравнении с ценностями общечеловеческими и общедемократическими. В указанном смысле судьба социологов-конструктивистов была общей с судьбой всего поколения шестидесятников.

### **Традиция *вторая*: не критическое восприятие обещаний марксизма**

В 40–50-е гг. XIX в. марксизм как учение об обществе был мало известен русской интеллигенции. Но пройдет еще 20–30 лет, и марксизм, набрав силу, обретет статус радикальной политической доктрины, которая станет знаменем нарождающейся социал-демократии [Голосенко, Козловский 1995: 214]. Этот сдвиг может быть объяснен социальной привлекательностью марксистских идей.

Законы исторического развития, по Марксу, не только давали понимание прошлого и настоящего, но и предсказывали, казалось, вполне определенное будущее. «Знание предначертаний исторической необходимости, выступившей как замена воли *божественного провидения*, приводило к тому, что следование историческим законам или тенденциям воспринималось как моральный долг» [Гофман 1995: 105–106]. Политический радикализм здесь обозначался со всей определенностью.

При строгом взгляде на вещи «научность», которой была одержима интеллигенция, начиная с последней трети XIX в., являла собой скорее умонастроение и утопический миф, чем ориентацию на дисциплинарную организацию знания [Социология в России 1998: 27–28]. Но именно это «особое опьянение» оказалось причиной и следствием не критического восприятия обещаний марксизма, связанных с «подлинной» историей человечества. Обещания опирались не столько на фундамент

научных доказательств, сколько на веру в бесконечные возможности радикальных преобразований с помощью марксизма, который следом за его создателем считал науку не целью, а лишь инструментом революционных преобразований. Итог воздействия этих обещаний известен. Испытывая головокружение от внушенной ему способности к переустройству мира, человек приступил на базе марксистского вероучения к действиям, обернувшимся социальным произволом, трагедиями XX в. С этого момента борьба социологических идей начнет перемещаться из общенаучного поля в политическую сферу и в конечном счете станет идеологическим оружием.

Уже в середине XX в., пишет А. Гоулднер, у марксизма возникли непреодолимые трудности с объяснениями «метаморфоз» обнищания пролетариата и с доказательствами тезиса об усиливающейся пропасти между трудом и капиталом. Если не окончательно, то вполне ощутимо марксизм сломался на конфликтах и проблемах социалистического общества, которые был не способен разрешить, и потому искал пути их непризнания. К тому же доктринальный, советизированный марксизм не мог перенести диверсификацию способов строительства социализма в странах социалистического содружества. Главный просчет доктрины состоял в том, что она предлагала единственный путь развития, в то время как их было и всегда будет множество [Гоулднер 2003: 504–509].

Во времена, когда Гоулднер наблюдал и анализировал процесс возрождения советской социологии, сама мысль о кризисе учения Маркса в нашей стране считалась бы «святотатством», крамолой. Будем правдивы, советские обществоведы не имели полномочий обсуждать и подвергать сомнениям каноны «всепобеждающего учения».

Здесь уместно напомнить дело Л.В. Карпинского [Пресса в обществе 2000: 558–562], исключенного из партии особым постановлением Комитета партийного контроля при ЦК КПСС (1975) «за взгляды, несовместимые со званием коммуниста, и попытку организации нелегальной деятельности». Непосредственным поводом для его экстрадикиции из партийных рядов послужила рукопись работы «Слово и дело», где, в частности, он предлагал провести «общую очистительную дискуссию» с целью проложить путь к радикальным переменам как жизни страны, так и политики партии. Дискуссию он понимал как прообраз того общественного состояния, которое впоследствии составило бы обстановку в партии и стране в виде демократической нормы. Задачи такой дискуссии, по его мнению, «состояли бы в непрерывном расширении и углублении в сторону все более последовательных социалистических выводов;

в содействии полному разгрому и окончательному захоронению сталинских концепций в общественных науках и массовом сознании; в решительной борьбе с малейшими антисоциалистическими или просто антиобщественными отклонениями» [Пресса в обществе 2000: 572].

Идеологическая машина работала на полную мощность; в вузовских аудиториях читались лекции по основам марксизма-ленинизма, а рабочие и служащие, включая служивую интеллигенцию, сдавали «ленинский зачет», занимаясь во всеохватной сети партийного просвещения. Наиболее добросовестные из числа слушателей сети получали от парткомов премию — пятитомник Л. Брежнева «Ленинским курсом». Изданный громадным тиражом, этот «шедевр» партийно-политической мысли середины 1970-х гг. долгое время пылился на затоваренных книжных складах, пока не был изобретен освященный правилами «партийной религии» «гениальный способ» продвижения пятитомника в массы граждан, интересующихся «современными вопросами теории и практики строительства развитого социализма». Избавиться от подарка было нельзя. В стране полным ходом шел сбор бумажной макулатуры, в обмен на которую можно было «достать» дефицитную художественную и приключенческую литературу, но принимать пятитомник как «вторичное сырье», по весу, было строжайше запрещено.

Прозорливость западных ученых в том, что касается констатации кризиса марксизма (и его советизированной версии), была не сразу замечена в Советском Союзе, более того, опираясь на собственный опыт, скажу, что она была по разным субъективным и объективным причинам проигнорирована и отложена до поры всеобщей гласности.

Вера в неисчерпаемый познавательный потенциал марксизма (наблюдавшаяся на первых порах создания социологии) — одна из причин из того, что новая наука слишком поздно обратила внимание на альтернативы марксистскому (монистическому) пониманию мира. Монизм здесь выступал синонимом определенной теоретической узколобости (*narrow-minded scholars*). Как следствие, дискурс современных социологических теорий был сведен до минимума в наших контактах с социологами зарубежных стран. Официальные источники, призванные поддерживать этот процесс (книги, бюллетени Советской социологической ассоциации, обзоры Института общественных наук АН СССР, теоретические разделы единственного в стране профессионального журнала «Социологические исследования», основанного лишь в 1974 г.), не могли восполнить дефицит общетеоретических представлений в со-

знании социологического сообщества. Отдам должное нашим западным коллегам. Они избегали открытой полемики по вопросам научного мировоззрения, зная к тому же, что официальными правилами для установления контактов с зарубежными учеными нам предписывалось «давать отпор представителям буржуазной науки».

*В силу названных причин теория функционализма (многолетний оппонент марксизма) с большими задержками во времени «пришла» на Восток. Я далеко не парсонианец, однако могу выразить сожаление, что слишком поздно пришел к пониманию ряда важных сторон теоретических построений Парсонса, которыми он подчеркивает такие свойства социальных систем, какими являются их самоуправляемость, саморегулируемость, самоконтролируемость и самосохраняемость. Вместо этого мы долгое время разглядывали Парсонса со всех сторон, желая убедиться в безопасности приложения теории функционализма к нашему обществу.*

Я хочу подчеркнуть, что целостный подход к западной социологии у нас отсутствовал. При несомненном интересе к ее достижениям и результатам особое внимание обращалось на развитие связей и сотрудничества, а также на освоение богатого арсенала методических средств, с помощью которых наши коллеги изучали разные сферы жизнедеятельности общества. Жизнь в социологической науке проходила по правилам «догоняющей модернизации».

Старое общество, которое мы хотим изменить, писал Гоулднер, опирается еще и на такой источник, как теория и идеология: «Невозможно ни освободить людей от власти старого общества, ни построить новое гуманное общество, не приступая здесь и теперь к созданию контркультуры, включающей новые социальные теории. Это невозможно сделать без критики старых теорий» [Гоулднер 2003: 28]. Не могу утверждать, что это аксиоматическое правило распространялось на отношение советских социологов к марксизму. Находясь в цепком плену партийной идеологии, мы обычно и привычно только *«применяли»*, но практически никогда *«не углубляли»* марксистскую теорию.

Считая в этом случае социологию одной из интеллектуальных систем общества, Гоулднер выходил за пределы традиционной постановки вопроса (которой, как правило, придерживалась советская социология), а именно: является ли эта наука истинной или ложной? Для Гоулднера проблема была в другом: какие социальные и политические последствия вызываются деятельностью социологии как интеллектуальной системы? Привязывают ли они людей к существующему социальному миру



или предоставляют возможность преодолеть его границы? [Гоулднер 2003: 37]. Раскрепощающая людей сила социологии была невысокой. Впрочем, следует помнить, что в этом случае дело не сводится к исследованиям (познавательной деятельности). Не менее важные компоненты — действия, критическое отношение и сами усилия по изменению социального мира и социальной науки, которые следует считать глубоко связанными уже потому, что социальная наука является *частью* социального мира и *частью* концепции этого мира [Гоулднер 2003: 38].

### Традиция *третья*: литературоцентризм

Исае Берлину принадлежит мысль о том, что все, чем жила в XIX в. Россия (речь о политических и социальных идеях), легко возвести не просто к западным корням, но и к той или иной конкретной доктрине, исповедывавшейся на Западе восемь, десять, а то и двадцатью годами раньше. Он назвал этот способ восприятия европейского наследия актом освобождения от цепей невежества и предрассудков, появлением новой системы мыслительных координат, под влиянием которой сложилось новое российское понимание литературы: не только чистое искусство, демонстрация эстетизма, но и углубление в нравственную, духовную суть героев художественных произведений, обращенность к моральным и социальным вопросам, в равной мере главным для искусства, для жизни, к их историческому контексту [Берлин 2001: 23].

В числе первых единство литературы и жизни подметил радикальный критик Виссарион Белинский. В своем знаменитом письме к Гоголю 15 июля 1847 г. он писал: «Только в одной литературе (не взирая на татарскую цензуру) есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почетно, почему у нас так легок литературный успех, даже при малом литературном таланте <...> вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта <...> публика <...> видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности» (цит. по: [Берлин 2001: 127]).

Такова особенность русской истории, что феномен обязательства художника перед обществом (более широко — органическая способность русской литературы к постановке «проклятых вопросов») является предтечей того, что можно было называть обязательством российского ученого перед обществом. Литераторы первыми осознали этот императив, и именно в приложении к писательской деятельности он был определен

как engagement («ангажированность»). Потому ангажированность социологов и социологии будет вторичной по отношению к ангажированности русской литературы.

Возникновение социологического направления в российской общественной мысли разными исследователями датируется шестидесятью годами XIX столетия. С этого времени начинается публикация работ по вопросам социологии. Этот факт можно объяснить двояким образом. Во-первых, влиянием контовского позитивизма и, во-вторых, наличием интеллектуального протеста против отсталости российского общества и архаизма его основных институтов. «Можно сказать, что российская социология институционализировалась примерно тогда, когда И.С. Тургенев встретил в поезде молодого врача, который поразил его воображение как новый социальный тип “нигилиста”. Так родился образ Базарова. Российская социология стала своеобразной рационализацией нигилизма, изначально посвятив себя критике несовершенного устройства общества и поиску социального идеала. Возвышение “социологического бога” произошло на фоне десакрализации общественной жизни и государства, публицистического активизма и появления критически мыслящих личностей» [Батыгин 1998: 25].

Литературоцентризм социологического мышления, что тогда, во второй половине XIX в. (в первой жизни социологической науки), что потом (сто лет спустя, во второй ее жизни), сохранял свое непреходящее значение. Социологическое мышление в определенном смысле является «частной производной» литературного дискурса реальности.

Стоит вспомнить здесь русскую классику, которая успешно развенчивала представление о непостижимости России, подвергнув десакрализации едва ли не все установления, феномены и институты: от помещиков и чиновников (Гоголь), государства и церкви (Лев Толстой), купечества (Островский), интеллигенции и крестьянства (Чехов и Бунин) до армии (Куприн) [Кантор 1997: 38].

Ренессанс социологии в послесталинское время был, конечно же, элементом духовной революции, которая медленно, но необратимо обозначилась в «исторических рамках» тоталитаризма [Российская социологическая традиция 1994: 50]. Однако еще раньше с помощью литературных произведений и научной публицистики началось пробуждение коллективной памяти, деформированной всевластным режимом, и переосмысление истории СССР [Геллер, Некрич 1995: 152–153]. Повестка дня этой дискуссии постоянно формировалась и обновлялась при активном участии литературного цеха страны. Сам по себе

литературный процесс отличался взрывоопасной сменой направлений писательского творчества. Поэтому не выглядят преувеличением слова современных исследователей, когда они пишут о том, что писательская активность подготовила политические перемены в советском обществе, приблизила наступление эпохи гласности, а за ней и эпоху свободы слова [Ланин, Гиллеспи 2004: 5].

Буквально через год после смерти Сталина вышли в свет статья В. Померанцева «Об искренности в литературе» (Новый мир. 1953. № 12) и повесть И. Эренбурга «Оттепель» (Знамя. 1954. № 5). Эти «всполохи» (к ним по справедливости следует добавить книгу Дудинцева «Не хлебом единым») можно уверенно назвать средствами реанимации общественной мысли. Проработка Б. Пастернака была свидетельством растерянности власти перед писательским прорывом к свободе творчества. А само обращение писателя в итальянское издательство было актом, пробивающим броню открытого общества. Процесс Синявского и Даниэля — еще одна важная веха в сознании интеллигенции, художественной и научной. Стало ясно, что любой вид творчества мог по произволу властей составить государственное преступление. Итогом стала поляризация научного сообщества на активных и отстранившихся, а также появление первых ростков правозащитного движения, посаженных писателями-диссидентами.

Особо скажу о молодежной прозе, которую критика назовет наиболее плодотворной ветвью «оттепельной прозы». Во-первых, она была литературной инновацией, ибо впервые за всю историю советской литературы выступала в роли глашатая одного поколения. Во-вторых, она произвела на свет своих героев (в отличие от персонажей других эпических повествований, написанных в традициях социалистического реализма), ищущих свой путь, вместо того чтобы идти по пути отцов, отвергающих ценности, замешанные на господствующей идеологии своего времени.

«Дети XX съезда» поддержат его решения, признают заслуги Хрущева в освобождении страны от власти культа личности Сталина и ужасов ГУЛАГа, они поверят в возможность социализма с человеческим лицом, но заявят о желании конструктивных перемен на базе сотрудничества с правящей партией. Политический компромисс с властью удержит их от радикальных мер по переустройству жизни общества. Они останутся в рамках критического разномыслия, но не примкнут к радикализму инакомыслия диссидентской среды. Ибо к новым идеям приходили не сразу и не все. Сначала надо было осознать, что идея гаснет, а только лишь потом понять, что на место

погасшей приходит новая идея. Это переходное состояние умов хорошо почувствовали представители социальных наук, доказывая, что в глазах тогдашних молодых — тех, кто умел и хотел думать, — существующая система не имела ореола “святости”» [Зубкова 1999: 137]. Будем справедливы, об этом сказала первой молодая проза, но только вслед за нею — социология и история.

Когда пришла перестроечная пора, то серьезный вызов государству и обществу последовал со стороны литературы (В. Астафьев, Ч. Айтматов, В. Распутин) и театрального искусства (О. Ефремов, М. Захаров, В. Фокин). Произведения этих авторов и художников, их книги и спектакли отражали советскую жизнь в новой манере, которая не имела ничего общего с прежними расхожими и идеологизированными представлениями о ней.

Однако, и это необходимо выделить, острота критических порывов социологов, историков, основной массы экономистов и философов и их бескомпромиссность в том, что касалось предания гласности и анализа отрицательных сторон прошлого, были существенно ниже в сравнении с журналистами, публицистами, деятелями искусства. Можно сказать жестче. До 1988 г. воздействие горбачевских политических реформ на социологию (более широко — обществоведение, социальные науки) было незначительным. Оно проявлялось скорее в «квазидемократической фразеологии и осторожном нарастании экзальтации в печати» [Ахиезер 1997: 39].

Как участник событий этих лет скажу, что импульс перестроечной активности социологического сообщества совпал с публикацией романов А. Рыбакова «Дети Арбата» (1987) и В. Гроссмана «Жизнь и судьба» (1988) и с выходом на экран фильма Т. Абуладзе «Покаяние» (1988). И только затем возникли фигуры прорабов перестройки, олицетворявших волю народа к решительному обновлению жизни, и поднялись волны демократических движений. Депутатами нового Верховного совета СССР стали социологи Т. Заславская от России, Г. Старовойтова и Л. Арутюнян от Армении, М. Лауристин и Ю. Воглайд от Эстонии.

#### **Традиция четвертая: self-made sociologists**

Трудности легитимации социологической дисциплины в России имеют длительную историю и восходят к последним десятилетиям XIX в. Принято считать Лаврова и Михайловского первыми российскими социологами с оговоркой «по самоназванию». Первый профессиональный (дипломирован-

ный, как принято говорить у нас) российский социолог М.М. Ковалевский (1851–1916) — юрист, историк, автор генетической социологии — получил академическое признание в университетах Западной Европы.

Министерство просвещения долгое время считало, что преподавание новой науки «компрометирует любое учебное заведение». Сановные бюрократы даже переименовали сам термин «социология», назвав ее «блажьлогией». Но здесь нашли выход. Распространение получили программы самообразования по социологии, добровольно разработанные рядом профессиональных ученых, представлявших родственные социологии социальные науки. Поддержка социологии принимала характер общественного движения, что видно еще из одного примера. В начале XX в. традиции земской статистики были многократно приумножены трудами учителей, врачей, экономистов, инженеров, представителей духовенства, которые проводили социальные обследования на свой страх и риск. Так возник первый в истории страны анкетный бум, повторение которого произошло спустя несколько десятилетий, но уже в результате активности социологов послесталинской поры.

Однако невысказанное или неизученное на родине приходилось договаривать и доисследовать за границей. М. Ковалевский использовал социально благоприятное отношение к социологии на Западе и организовал в Париже во время проведения Всемирной промышленной выставки (1901) Русскую высшую школу общественных наук, просуществовавшую пять лет. В школе прошли обучение свыше 2000 чел. Знаменательно, что Николай II оценил школу как «вредную». Возглавлял школу совет профессоров; в соответствии с французским законодательством в совет входили три француза (один из них Е. Дельбе — душеприказчик О. Конта). Кроме того, был создан Попечительский совет, который гарантировал французским властям лояльность и академический характер институции, возглавляли комитет представители европейской культуры и науки: Э. Золя, Ф. Олар (историк, иностранный член-корреспондент АН СССР с 1924 г.), Л. Леви-Брюль (этнолог и психолог), А. Фулье (философ и социолог, известный работами по психологии народов), Г. Тард (один из создателей социальной психологии) и известнейшие люди, многие из которых преподавали в школе [Голосенко, Козловский 1995: 26]. Опыт Русской школы вскоре получил продолжение в деятельности бехтеревского Психоневрологического института. Интерес к изучению человека на базе синтеза естественных и социальных наук был настолько велик, что в этом институте в 1908–1916 гг. прошли обучение свыше 6000 чел., после чего институт разогнали [Голосенко, Козловский 1995: 29].

«Всплеск» институционализации социологии в первые годы после Октябрьской революции — введение ученых степеней по социологии, открытие социологического факультета и кафедры социологии (во главе с П.А. Сорокиным) в Петроградском университете (1920), кафедры социологии в Ярославском университете — был кратковременным. Социологическая проблематика быстро перешла под патронаж исследовательских и учебных заведений правящей партии — институтов Красной профессуры (декрет об их создании В.И. Ленин подписал 11 февраля 1921 г.). Естественно, что против принудительной «советизации» социологического мышления и исследований категорически возражали социальные ученые-немарксисты. Период их сотрудничества с новой партийно-государственной властью был весьма коротким и закончился депортацией на «философском пароходе» в 1922 г. Центром развития теории построения нового общества стала Социалистическая академия общественных наук (основана в 1918 г.), переименованная в 1924 г. в Коммунистическую академию, которая просуществовала до 1936 г., не оставив яркого следа в развитии общественной мысли тех лет.

Общим свойством первопроходцев-энтузиастов социологического знания в конце 1950-х гг. было отсутствие профессиональной социологической подготовки. Вспоминает В. Ядов: *«Мы все — самоучки в социологии. В английской “Times” было опубликовано интервью с Ядовым под заголовком: “Self-made sociologist”. Сначала я решил, что это обидно — “самоучка в социологии”. А потом вник в семантику английского и понял, что это скорее комплимент и речь идет о человеке, который сам себя сделал таким, какой есть. Значит, наше поколение не должно стыдиться своей недообразованности. Нас не образовывали в своей профессии»* [Российская социология шестидесятых годов 1999: 61].

Путь самоучек в профессиональную социологию зависел от стихии счастливого случая. Один из таких случаев имел едва ли не судьбоносное значение для отечественной социологии. *Как доктор наук, Игорь Кон имел право выписывать себе через книжный отдел Библиотеки Академии наук СССР несколько иностранных книг в год. Валюты давали мало, но можно было использовать лимит других профессоров, которые зарубежную литературу в первоисточниках не читали, но уступали свой лимит ученым-полиглотам. Кон, обладавший особым чутьем на новое, в числе других книг заказал учебник «Методы социального исследования» американцев У. Гуда и П. Хатта (Goode W.J., Hutt P.K. *Methods in Social Research*. N.Y.: McGraw-Hill, 1952). Важно заметить, что Кон был не единственным ученым-обществоведом, философом, которого научная судьба властно толкала в сторону социологии. С одной стороны, это было непосредственным и есте-*

ственным продолжением работы эрудированного ученого по истории, социальной философии и философии истории, на которых, строго говоря, возникла в XIX в. социология как новая отрасль социального знания. С другой стороны, такие повороты были связаны с появлением в СССР эмпирических социальных исследований. Заморская книга пришла на имя Кона как раз к открытию ядовской лаборатории. А. Здравомыслов самолично перевел текст учебника на русский язык (копии перевода очень долго ходили по рукам в машинописном виде). Это облегчило старт ядовской лаборатории. Ее сотрудники начали буквально штудировать, постигая в тонкостях и деталях методы и технику эмпирического анализа реальности [Российская социология шестидесятых годов 1999: 49].

Когда чуть позднее, в середине 1960-х гг., завяжутся связи с американцами, то заработает конвейер получения зарубежной научной литературы. В Ленинграде одно время существовал «кооператив», основанный И. Коном и В. Ядовым, к участию в котором пригласили и меня. Мы на собственные средства покупали и отправляли в США по три экземпляра отечественных книг по социологии и смежным дисциплинам. В обмен получали согласованное количество нужных американских книг. На такой обмен следовало получить одобрение Ленгорлита. Для этого мы составили письменные заявления, согласно которым при поступлении на адрес любого из нас литературы «ограниченного пользования» цензор получал от нас «просьбу» (?) пересылать крамолу в спецхран библиотеки АН СССР. Сами правила отнесения книг и журналов к литературе ограниченного пользования были тайными, суровыми и абсурдными. Достаточно было одного упоминания или ссылки на Солженицына, чтобы книга уходила в спецхран. Всё это понимали и сотрудники БАН. В легких случаях они разрешали изъять несколько «опасных» страниц и унести книгу домой. В начале 1970-х гг. мне пришла очень ценная книга. В моем присутствии с помощью лезвия безопасной бритвы (ножниц в спецхране в тот день не нашлось) сотрудница вырезала статью о массовой коммуникации в Китае с критикой доктрины коммунистической пропаганды, а все остальное разрешила взять домой (стерилизованная книга вновь могла считаться моей). Для строгости изложения приведу данные купированной статьи: Yu Frederick T.C. *Campaigns, Communication and Development // The Process and Effects of Mass Communication / Ed. by W. Schramm, D. Roberts Chicago: University of Illinois Press, 1972. P. 836–860.* Такова была цена за легальную возможность воспользоваться остальными материалами книги.

Процесс самостоятельного освоения опыта современной социологии будет происходить повсеместно. Его качество (результативность) будет зависеть от этоса научной среды. Наиболее

продвинутые научные коллективы Ленинграда, Москвы, Новосибирска, Эстонии добивались того, чтобы студенты, аспиранты и научные сотрудники «с толком читали» зарубежную литературу, изживая губительную привычку ленивого ума — искать интересующие понятия по предметным указателям.

Никакая наука не может развиваться, не зная собственной истории. К чести первого поколения социологов, они сумели обратить на это особое внимание. Лечение исторической памяти профессионального сообщества от амнезии началось с появления книги «Позитивизм в социологии» [Кон 1964]. Недвусмысленная реакция журналов носила характер настоятельного совета социологам обстоятельно проштудировать пионерский труд И. Кона. Построенная на глубоком изучении большого числа зарубежных и отечественных источников, книга *de facto* стала одним из первых учебников по курсу истории социологии. В 1967 г. книга была переведена на венгерский, а в 1979 г. — на финский язык. За этим последовали два издания на немецком языке в ГДР (1968) и Западном Берлине (1973). Оба немецких издания были расширены. Туда вошли самостоятельные главы, посвященные Макс Веберу, возникновению эмпирической социологии в США, философским спорам между неопозитивистами и сторонниками понимающей социологии, структурному функционализму и американской «критической социологии». В этих расширениях нуждались первоочередно советские социологи, однако признать это государственные издательства не торопились, их более всего занимали мнимые опасности, вызванные влиянием «растленной» буржуазной науки.

Отдел истории социологии, созданный в ИКСИ АН СССР под руководством И. Кона, являл собою удачное, но не столь распространенное сочетание сложившихся ученых и научной молодежи. Подготовленная отделом «История буржуазной социологии XIX — начала XX веков» (1979) стала первым крупным отечественным историко-социологическим исследованием и учебным пособием по этому предмету. Тогда же ее перевели на чешский и китайский языки, десять лет спустя — на английский и испанский. Больше всего И. Кон гордился тем, что аспиранты и молодые ученые, работавшие под его руководством, смогли развить в себе недюжинные исследовательские дарования и стать солидными учеными, широко известными в стране и за рубежом (Игорь Голосенко, Римма Шпакова, Александр Гофман, Леонид Ионин, Дмитрий Шалин).

Приобретению социологией статуса полноправной дисциплины мешала «тридцатилетняя война», начатая вскоре после образования Советской социологической ассоциации (1958)



и закончившаяся под влиянием перестройки (1988). Официоз настаивал на том, что под социологией следовало понимать родовое название всей системы доктринальных общественных наук (исторический материализм, политическая экономия и научный коммунизм), и очень неохотно сдавал свои позиции. Как следствие, в вузах страны вплоть до окончания «войны» не было ни одного социологического факультета, а введенные в начале 1980-х гг. специализации (МГУ и ЛГУ) именовались прикладной социологией, лишенной права любой научной дисциплины на разработку теории.

Первый (и до середины 1980-х гг. единственный в СССР) профессиональный журнал со стыдливым и безродным названием «Социологические исследования» начал выходить лишь в 1974 г. Продолжая эту тему, напомним, что лишь в конце 1970-х гг. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) ввела специальность «Прикладная социология», по которой стало возможным защищать социологические диссертации с отнесением их к области философских и экономических наук. Признать *de jure*, что существуют еще социологические науки, ВАК тогда отказался, не имея к тому же на это полномочий партийной власти.

Общее число социологов в СССР было меньше, чем в Польше или Венгрии. Лишь в 1989 г. ожидался выпуск первой сотни социологов с высшим образованием. В это время в США имелось 226 социологических факультетов, которые ежегодно выпускали 6000 специалистов; основами социологических знаний овладевали около 90 000 американцев, поскольку курсы по социологии читались в 92 % американских университетов; выпускалось несколько десятков социологических журналов.

В июне 1988 г. горбачевское Политбюро ЦК КПСС приняло программное постановление «О повышении роли марксистско-ленинской социологии в решении ключевых проблем советского общества». Этим постановлением социология была выделена из синдромов философских и экономических наук и получила долгожданное, годами выстраданное право на самостоятельное место в официальной структуре научных специальностей. Институт социологических исследований АН СССР стал называться Институтом социологии АН СССР, а научные сотрудники получили право защищать кандидатские и докторские диссертации по социологическим наукам. Постановление подчеркнуло необходимость организации в университетах социологических факультетов и кафедр. Подготовка социологических кадров включалась теперь в систему государственного планирования и распределения. Директором-организатором Института социологии ЦК впервые назна-

чил не номенклатурную фигуру, а профессионального социолога, ученого с мировым именем Владимира Ядова.

На весь цикл с благополучным эпилогом ушло около 60 лет, если вести отчет от конца двадцатых годов прошлого века. Для совершения этих преобразований другого закона (другой власти, кроме партийной) в стране тогда не было. Да и вообще в России все дела делаются медленно!

### Вместо заключения

Оценю теперь меру функциональности рассмотренных традиций социологии по отношению к предназначению социальной науки в обществе.

Внимательно разбирая причины кризиса социологии (западной и марксистской) во второй половине прошлого века, А. Гоулднер сумел пойти гораздо дальше традиционной для того времени постановки вопроса: является ли эта наука истинной или ложной. Вместо этого он предложил сообществу социологов сосредоточиться на последствиях, которые вызываются социологической деятельностью в обществе, на результатах реализации социальных ролей науки *de facto*. В итоге он выдвинул оценочный критерий, связав его с получением ответа на более сложный вопрос. Освобождает ли наука людей или в конечном счете подавляет их? Привязывает ли она людей к существующему порядку или, напротив, предоставляет возможность преодолеть его границы? [Гоулднер 2003: 37].

В соответствии с этим критерием *первая* и *вторая* традиции, конечно же, были дисфункциональны по отношению к предназначению дисциплины. К чести социологического сообщества, в условиях новой России оно смогло избавиться от груза идей «революционизма». *Четвертая* традиция тоже блокировала развитие дисциплины. Хотя я обязан отдать должное энтузиазму, с которым русские и советские социологи овладевали основами своей профессии. Не обойдусь здесь без ссылки на работу: [Hargens 2000]. Ее автор писал, что «частое» и «диспропорциональное» цитирование фундаментальных работ, равно как «частое» и «диспропорциональное» цитирование недавних работ отражает две структуры научного знания. В первом случае ученые ставят перед собой цель найти перспективные и общие подходы; во втором — ограничиваются выражением частных точек зрения. *Я помню отчетливо время (после 1984 г.), когда я, будучи изгнанным из Социологического института, нашел прибежище в стенах Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера). Погрузившись в чтение фолиантов, я обнаружил, что эти новые для меня дисциплины изначально возводят*

*в императив знание трудов предшественников. Советская социология (питомцем которой я являюсь) остановила свой стартовый выбор на информации, которая хранилась тогда в оперативной памяти науки, и только после этого обратилась к базам данных, хранившихся на «жестких дисках».*

Выходит, что только *третья* традиция была функциональной, поскольку все время обогащала социологическое воображение, постоянно, как показывает история, наставляя на путь истины и освобождения человека. Но эту латентную силу отечественной литературы я ощущаю всю свою жизнь. Во всяком случае литературный дискурс (проза, поэзия), стремясь понять собственное общество и найти емкие словесные формулы и метафоры для выражения его истинных, а не мифологических состояний, часто оказывался убедительнее тех логических конструкций, которые предлагали социальные науки. В дальнейшем можно было бы обсудить проблему верховенства власти литературы и искусства над людьми.

### Библиография

- Ахизер А.С.* Россия: критика исторического опыта. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. Т. 1.
- Батыгин Г.* Преемственность российской социологической традиции // Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. М.: Изд-во Института социологии РАН, 1998. С. 23–44.
- Берлин И.* История свободы. Россия. М.: НЛО, 2001.
- Геллер М., Некрич А.* Утопия власти. М.: МИК, 1995. Кн. 2.
- Голосенко И.А., Козловский В.В.* История русской социологии XIX–XX вв. М.: Онега, 1995.
- Гоулднер А.* Наступающий кризис западной социологии. СПб.: Наука, 2003.
- Гофман А.* Семь лекций по социологии. М.: Наука, 1995.
- Зубкова Е.Ю.* Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. М.: РОССПЭН, 1999.
- Кантор В.К.* О национальном мифе непонимания // Вопросы философии. 1997. № 2.
- Колбановский В.В.* К истории послесталинской социологии: от ренессанса до реформации // Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах. СПб., 1999. С. 19–41.
- Кон И.С.* Позитивизм в социологии. Исторический очерк. Л.: ЛГУ, 1964.
- Кон И.С.* 80 лет одиночества. М.: Время, 2008.
- Ланин Б.А., Гиллесли Д.* Русская проза в канун постмодернизма. М.: ВГНА МНС России, 2004.
- Пресса в обществе (1959–2000). Оценки журналистов и социологов. Документы. М.: Изд-во Московской школы политических исследований, 2000.

Российская социологическая традиция шестидесятих годов и современность: Материалы симпозиума 23 марта 1994 г. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1994.

Российская социология шестидесятих годов в воспоминаниях и документах. СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманитар. ин-та, 1999.

Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998.

*Шубкин В.* Насилие и свобода. М.: Изд-во «На Воробьевых горах», Институт социологии РАН, 1996.

*Hargens L.H.* Using the Literature: Reference Network, Reference Context, and the Social Context of Scholarships // *American Sociological Review*. 2000. Vol. 65. No. 6. P. 846–865.

Кроме указанных источников, автор использовал материалы книги: *Фирсов Б.М.* История советской социологии 1950–1980-х гг. (издание второе, дополненное), которая в настоящее время готовится издательством ЕУСПб к печати.